

В.И.ДАЛЬ

ИЗБРАННЫЕ  
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

9

Владимир Даль

**Павел Алексеевич Игриный**

«Public Domain»

## **Даль В. И.**

Павел Алексеевич Игривый / В. И. Даль — «Public Domain»,

В 1847 году в «Отечественных записках» появилась повесть В. И. Даля «Павел Алексеевич Игривый». Главный герой этой повести отражает поиски автором положительного идеала своего времени. В молодости Игривый – деятельный помещик, благородный, добрый и отзывчивый человек. Кончается же повесть тем, что Игривый, обрюзгший, пожилой человек, лежит на диване, держит в руках истасканную книжку, ничем не интересуется, много спит. А ведь когда-то он был способен на большее. Вся его жизнь была безграничным самоотвержением во имя любимой женщины. Подвиг этот окончен, и вместе с ним утрачен смысл человеческой жизни.

## Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

16

## Владимир Иванович Даль

### Павел Алексеевич Игривый

В небольшой комнате было два стола – один так называемый ломберный, складной, очень ветхий, другой сосновый, который некогда был выкрашен голубой краской, затем белой и, наконец, красной, и потому на вытертых углах и лысинах стола видны были все три слоя краски. Еще стояло тут семь стульев – пара очень затасканных, оплетенных осокой, пара вовсе деревянных, как будто дружки сосновому столу, но один был облечен в первоначальную масть этого стола, то есть голубой, а другой, по-видимому, принял участие во втором перевороте и оделся в белую сорочку; пара тяжеловатых кресел неизвестного склада и масти, одетые издавна пестрядевыми чехлами, видимо состояли в близком родстве с таким же раскидистым диваном; подушка седьмого стула, наконец, если рассмотреть ее тщательно, показывала, что была когда-то вышита шелками по сукну или казимиру неопределенного цвета, но все это давно поблекло, полиняло, шелк местами вовсе повытерся, казимир посекеся. В комнате стоял еще перекосившийся шкаф, доживавший век свой пузатый комод, горка с трубками величиною с Гаркушин курган<sup>1</sup>, а стены были увешаны несколькими старообразными ружьями и другими отставными охотничьими припасами, а также старосветскими картинами в красных узеньких рамочках.

На диване лежал человек средних лет, рослый, плотный, видный, в весьма поношенном халате; он читал какую-то истасканную книжонку, или по крайней мере держал ее в руках, и сосал погасшую трубку. Среди пола лежал врастяжку большой легавый пес, ворчал и лаял про себя во сне.

Павел Алексеевич Игривый – так звали этого барина – оглянулся с улыбкой на своего любимца, потянул опять трубку и, заметив, наконец, что она погасла, закричал: «Эй, Ванька!» Иван вошел, не говоря ни слова, подал барину на смену другую трубку, а покойницу унес для дарования ей новой жизни, то есть для чистки и набивки.

Много пять минут продлилось молчание, прерванное несколькими вздохами и зевками барина и бессловесными возгласами его любимца, как опять раздалось: «Эй, трубку!...» По третьему подобному призыву своему, однако же, помещик наш встал, потянулся, спросил у Ваньки: «А что, рано еще?» И узнав, к своему удовольствию, что уж не так рано, а час девятый, решил, что пора спать, и пошел в соседнюю почивальню. Ванька последовал за ним. Здесь мебель ни в чем не уступала кабинетной: односпальная кровать о двух тюфяках и двух пери-нах, с целой копной подушек и бессменными на вечные времена занавесками, стояла во всей готовности для приема в недра свои хозяина.

– Ну, брат Ванька, – сказал он, – коли так, отойдем, помолившись, ко сну. Ты раздень и разуь меня, уложи меня, накрой меня, подоткни меня, переверни меня, перекрести меня, а там, поди, усну я сам.

– Да никак, сударь, – сказал Ванька, – и дворян-то вся спит без просыпу. Хоть бы приказали собраться да волков попугать; ведь вот вечер телку зарезали у Карпова, того гляди ребят обижать станут. Бывало, вы, сударь, охотились сами.

– Э, бывало! Было, да быльем поросло. Пожалуй, соберитесь па днях да поохотьтесь себе.

– То-то, сударь, холостому человеку все не в охоту; хоть бы, сударь, невесту себе выбрали да женились, и мужики все жалеют об вас.

Барин захохотал.

---

<sup>1</sup> Гаркушин курган. – Семен Гаркуша – легендарный украинский повстанец конца XVIII века.

– Эка, вовремя собрались пожалеть! Нет, брат, уж мои невесты, чай, давно на том свете козлов пасут... Эка забота моим мужикам! Ну, видно ж, им не о чем больше тужить: по грибы не час и по ягоды нет – так хоть по еловы шишки.

– А что ж, сударь, и вестимо, что так: они за вашею милостью живут захребетниками и не тужат, а вам так вот, видно, скучно; была бы хозяйка...

– А зови-тка ради скуки Меледу с понукалкой, так вот и уснем под шумок и размыкаем горе.

Меледой прозвали сказочника Гаврюшку, своего, доморощенного поварского помощника, который в четыре года не мог выучиться готовить простых щей с забелкой, отговариваясь тем, что все ночи напролет сказывает барину сказку и потому днем должен спать, вследствие чего-де и учиться некогда, да и проспал память. Меледа вошел разутый и полураздетый, принес по обычаю под мышкой одр свой – войлочек и подушонку, постлал его в ногах у барской кровати, присел на него, почесываясь, и ждал барского «ну». В то же время вошел в комнату еще другой человек, одетый и обутый, но с такой дурацкой рожей, что посторонний не мог бы взглянуть на него без смеха. Он стал спокойно у дверей, сложил руки, выставил одну ногу и принялся зевать, будто по заказу, растворяя пасть как широкие ворота и поднося то ту, то другую руку к бороде и растопыривая все пять пальцев. Лицо это было известно в доме под должностным званием *понукалки*, а Меледа называл его обыкновенно дармоедом и надоеда-лой. Это была также ночная птица для потехи барина; обязанность его состояла в том, чтоб не давать уснуть преждевременно сказочнику и понукать его, если тот задумается или запнется. Когда один из приятелей Павла Алексеевича спросил его, глядя на эту знаменитость, откуда он достал такого урода и свой ли он, то Павел Алексеевич отвечал: «Нет, это наемный, проску-ровский мещанин, я плачу ему по четыре целковых в месяц да отпускаю еще месячину. Свой на это дело не годится, сам первый уснет наперед сказочника, тогда что я с ним стану делать – браниться да драться? Нет, этого я не люблю. А этот боится, знает, что сгоню со двора, коли нехорошо служить станет, так он и держит ухо остро. Притом и я к нему привык: не могу гля-деть на него, чтоб не стало клонить ко сну, а как растворит ворота да зевнет – так тут и я уснул».

Когда все это устроилось в порядке и оба должностные лица заняли свои места, Павел Алексеевич покряхтел, потом вздохнул, там зевнул и промычал: «Ну». Сказочник начал покрях-кивать, а понукалка приосанился и с этой минуты вступил в свою должность. Командное сло-вечко «ну» развязывало и ему самому язык на это же коротенькое словцо и давало ему власть понукать сонного сказочника. Этот начал очень плавно и бойко, молот с четверть часа без-остановочно, а там забормотал менее внятно и захотел перевести дух. «Ну», – начал его при-шпоривать понукалка, у которого также слипались глаза, но который не смел прилечь, чтоб не заснуть, и все стоял на своем месте. «Ну...» Меледа крикнул и продолжал:

– На том на море на окияне, на острове на буяне стояла береза – золотые сучья, на тех на сучьях яблочки серебряные, в них зернышки – граненый алмаз...

– Ну, – начал опять от скуки понукалка, покачиваясь и не слушая, впрочем, говорит ли тот сказку или дремлет.

– Стояла корова – золотые рога; на одном рогу баня, на другом котел: есть где помыться, попариться...

– Ну...

– Ну да ну; чего ты нукаешь?

– Да, вишь, ты не бойко говоришь, дремлешь...

– Сам ты дремлешь, дармоед; гляди: затылком двери пробил; а я не дремлю... На том на острове текут речки медвяные, сытовые, берега кисельные; девка выйдет, ударит коромыслом, черпнет одним концом – зачерпнет два красна холста; черпнет другим...

Тут Павел Алексеевич всхрипнул довольно внятно и несомнительно; сказочник, сидя на полу и обняв руками колени, понурил на них голову и замолк, а понукалка не счел уже нужным его тревожить и, постояв еще немного, вышел в соседнюю комнату и там прилег.

Часу в седьмом утра Павел Алексеевич проснулся, и все в доме зашевелилось. Обувшись в бараньи сапожки домашней выделки и в халат свой, он умылся, помолился и стал советовать с Ванькой, чего бы выпить сегодня: малины ли, бузины ли, шалфею, липового цвета, кипрею, ивана-да-марьи, ромашки с ландышами или уж заварить настоящего чаю? И Ванька рассудил, что бузина пьется на ночь для испарины, малина после бани, шалфей в дурную погоду, липовый цвет со свежими сотами, иван-да-марья и ромашка, когда неможется, кипрей, то есть копорский или иван-чай, по нужде, за недостатком лучшего, и потому полагал заварить сегодня настоящего китайского чаю, что и было исполнено. От чая сделан был незаметный переход к завтраку; а между тем староста, мельник, скотница и другие сельские сановники отбывали доклады свои и получали приказания. По временам книжка будто невзначай опять попадала в руки Павла Алексеевича, но вскоре другие занятия развлекали его и вековая книжка оборачивалась корешком кверху. Не успели оглянуться, как Иван подал щи, кашу да жаркое; там оказалось полезным отдохнуть часика два; там Павел Алексеевич прошелся по хозяйству и по саду, напился липового цвета с сотами, разобрал несколько ссор и жалоб, отдал приказания на завтрашний день, осведомился, не рано ли, и, услышав, что девятый, поспешил перекусить немного, помолился, лег, и Меледа с понукалкой явились снова тем же порядком, как и вчера.

Вот ежедневный быт, будничная жизнь Павла Алексеевича. По праздникам он облачался в сюртук бурого или кофейного цвета, выпускал белый воротничок, брал соломенную шляпу или полутеплую фуражку, смотря по погоде, трость и белые перчатки, которые, впрочем, никогда не надевались, и отправлялся в церковь, бывшую у него же на селе. Иногда, хотя довольно редко, кто-нибудь заезжал к нему; еще реже он бывал у других; но настоящим праздником для него был тот почтовый день, в который гонец привозил ему из города письмо. Такое письмо, казалось, одно только привязывало его всей душой к жизни; Павел Алексеевич оживал, был в тот день деятельнее и веселее и, прочитав письмо раз-другой про себя, перечитывал его еще Ваньке и одной дворовой женщине, известной в доме под названием мамушки.

Что же читатели скажут о Павле Алексеевиче, о быте его и роде жизни, которую мы старались изобразить точно и верно? Я думаю, что иной, может быть и вовсе незлобный, столичный житель готов будет с чувством собственного достоинства пожать плечами и назвать его животным; может быть, даже и самый снисходительный приговор будет еще довольно жесток для скромного деревенского жителя и не избавит его от сострадательного презрения. Но всегда ли наружность достаточно изобличает внутреннюю ценность человека? Почему знать, что помещик наш передумал и перечувствовал на веку своем, невзирая на бесчувственную, довольно плоскую и бессмысленную наружность?

Лет тому двадцать пять в сельце Подстойном помещичья семья сидела за вечерним самоваром и с нетерпением ждала кого-то. Живой и плотный белокурый старик, в долгополом домашнем сюртуке, с огромными усами, с большими, но бессмысленными серыми глазами, с отставными военными ухватками и молодечеством, похаживал взад и вперед, то останавливался у открытого окна, глядел и прислушивался, то посматривал на стенные часы с двумя розочками и двумя незабудками по углам и наконец, продувая трубку свою, сказал:

– Нет, уж видно, я говорю, сегодня не будет.

– А может быть, и будет, – заметила хозяйка его, заглянув в чайник и прибавив туда на всякий случай водицы. – Ведь ему надо быть к сроку, к ярмарке; а уж он, чай, не обманет, коли обещал заехать к нам по пути да привезти весточку от Любаши.

– Ну, загулялся в Костроме, – возразил старик. – Человек, я говорю, молодой, поехал в город, да еще с деньжонками, так ему и не до Любаши; она еще ребенок.

– Никак едут-с, – сказал, вошед торопливо, слуга, указывая слегка в ту сторону, откуда ждали гостя.

– Ну, вот видишь, – проговорила хозяйка с изъятием радости, – между тем как хозяин вышел на крыльцо, а вслед за тем обнял желанного вестника и при громогласном разговоре ввел его в комнату.

– Уж и ждать было перестали! – так встретила его хозяйка. – Особенно Иван Павлович, говорит: видно не будет; а я все жду-пожду; нет, говорю, будет... Чайку прикажете с дороги или закусить чего?...

– Благодарю, – отвечал молодой человек, – чашечку выпью, но я тороплюсь домой, немножко позамешкался, позадержала Любовь Ивановна...

– Как, она? Не-уж-то? Голубушка моя! Что ж, видел ее? Что она? Не скучает? Здорова?... – Так посыпались вопросы матери.

– Здорова, – отвечал тот, немного зарумянившись, – и шлет вам много поклонов и поцелуев; я раза три навещал ее.

– Уж и поцелуй! – сказал, захохотав, отец. – Слышите, что я говорю? Я говорю; уж и поцелуй; ха-ха-ха!

– На словах, разумеется, – возразил приезжий. – И хотя словесный поцелуй, да еще и передаточный, утешителен для того только, кому назначен, но я принужден был покориться строгости костромских пансионских правил, по которым не дозволяется даже поцеловать ручку воспитанницы!

– Смотри, пожалуй! – стал опять острить отец. – Дети они, дети, а только покинь их без присмотра, тотчас вот по натуре своей наколобродят... ха-ха-ха! Слышите, что я говорю? Я говорю: вот тотчас по натуре своей и наколобродят.

– Да порасскажите ж нам, голубчик Павел Алексеевич, что-нибудь о Любаше, – сказала с нетерпением хозяйка, выручив этим молодого человека из замешательства, в которое поставило его бестолковое, но громогласное замечание Ивана Павловича. – Расскажите, что она, моя голубушка, и как?

Павел Алексеевич принялся хвалить Любашу с большим чувством, и сознание, что он может и даже обязан делать это в настоящем своем положении, отдавая об ней отчет ее родителям, доставляло ему большое утешение. Вскоре у матери на глазах навернулись слезы, старик, стоя, наклонился вперед и подымал брови все выше да выше, как будто прислушивался внимательно, а между тем беспрестанно перебивал всех остротами своими и заставлял выслушивать их по два и по три раза, приговаривая: «А слышите, что я говорю? Я говорю: ха-ха-ха!»

– Начальница и дамы не нахвалятся ею, – продолжал Павел Алексеевич, – а вы не нарадуетесь, когда свидетесь. Она выросла, уже почти совсем сложилась...

– Ох, боже мой, – сказала мать, всплеснув руками. – В эти годы, можно ли?

– А что ж, матушка? – заметил отец. – Ведь и ты по шестнадцатому году за меня вышла, вспомни!

– И то правда, – отвечала она, сосчитав что-то по пальцам. – Да ведь она ребенок еще, видит бог, ребенок...

– Ну, ребенок, – заревел Иван Павлович, забыв, что он сам сейчас называл дочь ребенком, – ну, такой же ребенок, как и ты! Ха-ха-ха! Слышите, что я говорю!

– Как, мать такой же ребенок, как и дочь?

– Ну да, матушка, да ведь я говорю о прошлом, я говорю...

– Да, о прошлом! Ох, разумеется, все мы были праведными младенцами...

Расторопный слуга вошел и спросил робко у барина, не будет ли каких приказаний насчет чего-нибудь, и при этом покосился как-то странно на гостя. Это значило: кучер гостя ужинает, так не напоить ли его пьяным, чтоб барина задержать по обычаю на ночь, или уж не снять ли на всякий случай у брички колесо? На этот раз подобных распоряжений не последовало: хозяин



знал, что гостю надо быть дома к сроку и ехать на ярмарку, и потому после долгих прощаний, благодарений, дружеских приглашений и благословений его благополучно отпустили.

– А о косо-то я и позабыла спросить! – ахнула, старушка, когда бричка покатила со двора, и кинулась было к окну, но опоздала. – Сама Любаша ничего толком не напишет... такой ветер! А я и не знаю, выросла ли у нея коса-то, хоть бы вот четверти в три?

– Выросла, матушка, – утешал ее отец, – слышишь: сложилась девка совсем. Ха-ха-ха! И выросла и сложилась!

Скажем теперь, проводив Павла Алексеевича, что это был сосед в шести верстах от старика Ивана Павловича Гонобобеля и супруги его Анны Алексеевны, к которым мы сейчас заглянули. Мы были там невидимками, и потому с нашей брички также колес не сняли; но редкому гостю удавалось выехать из селца Подстойного без этой проделки.

Павел Алексеевич Игривый, полный хозяин хорошенького именища Алексеевки, возвратился года за полтора из университета, не кончив курса, для приема имения своего по случаю внезапной смерти отца и взялся за хозяйство. Он съездил теперь по своим делам в Кострому и привез любезным соседям весть о дочери их, которая, как мы слышали, оканчивала свой учебный курс в частном пансионе, названном на вывеске, не знаю, почему, *Образцовым*.

Полчаса, которые Игривый ехал от Подстойного до Алексеевки, прошли в таком же точно сладостном забытии и бессвязных, розовых мечтах, как все время пути от Костромы до Подстойного. Павел Алексеевич думал о том, что Иван Павлович прав и Любаша вовсе не дитя, как полагала Анна Алексеевна; что сам он сказал истинную правду относительно строгости пансионских учреждений и одной только словесной передачи поцелуя, хотя, в сущности, такое задушевное, заповедное рукопожатие, каким он мог похвалиться, едва ли не перевесит иного необдуманного, легкомысленного поцелуя; что, наконец, Любаша неизъяснимо мила, несмотря на свой возраст отроковицы... Вот сущность мечтаний Игривого, который не скучал перебирать думу эту со всех концов, разыгрывать ее на все лады и тешиться ею па просторе. Обстоятельства не позволили ему кончить университетского ученья и заслужить ученую степень <sup>2</sup>; но он твердо намеревался сделать это при первой возможности, приведя дела свои в порядок, с нетерпением рассчитывал и соображал он теперь что-то по годам и месяцам и заглядывал в будущую судьбу свою гораздо далее вперед, чем это нам дозволено.

Годик прошел незаметно; в Подстойном и в Алексеевке все оставалось по-старому, с тою только разницей, что Игривый соскучал без Костромы, к счастью, вскоре опять нашел необходимым съездить туда по своим делам и опять привез много поклонов от Любаши; а затем наконец ныне событие необычайное было на мази в Подстойном: Гонобобель с хозяйкой снаряжались в путь-дороженьку, все в ту же Кострому, и притом уже за своей Любашей. Она окончила свое образцовое пансионское ученье. От суеты и крика Ивана Павловича вся дворня стояла всенощную уже семеры сутки сряду; дорожный рыдван выкатывали на широкий двор и опять подкатывали в сарай раз по пяти на день. Хозяин сам ничего не смазывал и не увязывал, но ходил день-деньской в дегтю и в смоле и не выпускал из рук какой-то толстой бечевки. Все приказания его отдавались дважды и трижды в один дух, с сильным ударением на «я говорю», но одна часть приказаний этих была уже исполнена накануне, а другая до того противоречила первым или даже самому здравому смыслу, что «сейчас» и «слушаю-с» вырывались из уст прислуги только по исконному обычаю, а вовсе не для того, чтоб кто-нибудь думал об исполнении. Анна Алексеевна переправлялась по несколько раз в день из задних покоев в сарай с несколькими попутчицами из девичьей: все они были навьючены и нагружены, как верблюды, и вся поклажа эта, большею частью съестные припасы, укладывалась тихомолком в рыдван.

---

<sup>2</sup> С 1819 года студентам, окончившим успешно университетский курс, присваивалась ученая степень действительного студента и окончившим с отличием – кандидата наук.

«Половину этого Иван Павлович непременно выбросит вон, – думала скромно про себя Анна Алексеевна. – Так пусть же другая половина останется: дорогою пригодится. Кострома не близкий свет: на своих неделя езды».

Тут были не только крендели, кокурки, пироги, курник и пирожное всех родов, но были и сушеные вишни, и яблоки, и даже моченый горох, собственно для Ивана Павловича. До моченого гороха Иван Павлович был страстный охотник, ел его о всякую пору, особенно дорогой, и им-то Лина Алексеевна очень удачно затыкала мужу рот, когда он начинал ворчать слишком упорно и назойливо.

Игривый наведывался в это время почасту к соседям, и не раз уже вырывались у него такие странные выражения усердия и готовности быть чем-нибудь полезным при снаряжении их в дорогу, что походило на то, будто ему хотелось скорее их выпроводить. Казалось бы, они ему ничем не мешали тут – но, видно, он думал об этом иначе, или даже у него была тут какая-либо не прямая, а косвенная думка.

Наконец взойшло то солнышко, которому суждено было до заката своего осветить поезд Гонобобеля из Подстойного в Кострому. Рыдван шестерней да троичная телега стояли у подъезда. Несметная дворня, разделенная на две густые толпы, стояла направо и налево от крыльца, острила над кучером и выносным, над девкой в дорожном уборе, в какой-то куцей куртке и барыниных башмаках и ожидала господ. В покоях слышались голоса: барыня простилась с кошками своими в девичьей и там отдала уже все приказания насчет корма и присмотра за ними; но барин попрощался с собаками гласно, как на мирской сходке.

– Кирюшка! – кричал он, стоя на крыльце. – Да чтобы навар был дважды в педелю, слышишь, а по будням овсянка – слышишь? Я говорю, чтоб они праздник знали... ха-ха-ха! Слышите, что я говорю? – и народ, кланяясь угодливо, от души засмеялся.

– Это что? – спросил Иван Павлович, остановившись на втором приступке кареты.

– Дорожные припасы, мой друг, – отвечала примирительным голосом Анна Алексеевна.

– Это вон – ха-ха-ха! И вот это вон, и это вон, ха-ха-ха! Слышите, что я говорю? – И узлы с мешками летели из рыдвана в открытые двери. Дворня подхватывала мешки и мешочки на лету и по знаку Анны Алексеевны передавала все это втихомолку на запятки и в телегу. Довольный этою победой, Иван Павлович весело уселся, сказав: – Ну, вот теперь милости просим, матушка Анна Алексеевна! Слышите, что я говорю, – а? Вот теперь милости просим – ха-ха-ха!

Поклоны и пожелания дворни посыпались громогласно; кучер свистнул, тряхнул вожжами, и карета покатила. Телега была нагружена перинами, подушками, девками, овсом и бог весть чем, а потому большая часть узлов и мешков, вылетевших из кареты мановением руки Ивана Павловича, поступили на временное попечение того, кто сидел на запятках. Бедняк обнял во все руки и держал целый воз поклажи, так что ни он не видел свету, ни свет не видал его.

– Вот это у немцев считается миля, – сказал Иван Павлович, выглядывая из окна и вспоминая былое время походов. – Это семь верст.

– Ах ты, боже милостивый! – проговорила, словно проснувшись Анна Алексеевна и закрыла лицо руками.

– Что там такое?

– Ох, уж не знаю, как и сказать, Иван Павлович! Надо же такому греху случиться...

– Да что же такое? Говори, я говорю.

– Да ларец с Любашиным бельем ведь позабыли, весь...

Гонобобель вспыхнул как ракета и рассыпался звездочками в упреках и нравоучениях. Сто раз повторил он, что уже не воротится и что Анна Алексеевна может теперь управляться как ей угодно. Проехав, однако же, еще версты две, он закричал: «Стой!» – велел отпрячь лошадь из-под телеги и послал за ларцом, приказав привозить его прямо на ночлег. Нравоучения все еще сыпались обильно, но, по явному истощению запаса, повторялись все одни и те же,

и притом майор брюзжал даже с некоторыми расстановками, переводя дух с большою свободой. Тогда Анна Алексеевна, все не говоря ни слова, рассудила, что пора прибегнуть к моченому гороху: молча подставила она супругу своему мешочек; старик жадно запустил туда руку и, набивая рот горстями, ворчал уже так бессвязно и невнятно, что Анна Алексеевна вольна была принять это за молчание или даже за изъявление удовольствия.

Минуем теперь прочие события на пути четы нашей в Кострому, даже и то, что на первом привале, где стали закусывать, оказались в наличности одни только вилки, и притом полная дюжина, а ножей не было ни одного; оставим и то, что Гонобобель нашел в карете козла в мешке, как он уверял, и кричал, и хохотал и бесновался, и показывал всем людям, что барыня взяла с собою на дорогу козла в мешке, и заставлял всякого ощупывать рога, и велел его выкинуть вон, – и как, наконец, оказалось, что это был вовсе не козел с рогами, а кисеты с табаком и запасными трубками самого Ивана Павловича, – оставим, говорю, все то и пойдем вместе с родителями встречать и принимать из пансиона единственную дочь их, Любашу.

Странно, скажу и я при этом случае в скобках, приглашая всех и каждого послушать, что я говорю, – странно: все пансионы, воспитательные и учебные заведения учреждаются, как должно полагать, для того, чтоб воспитать и образовать человека вовсе не для пансиона собственно, а для света, в котором всем нам приходится жить... А между тем, пошлюсь на любого, – этому ли там всегда учат или этому ли там научаются?...

Публичный экзамен, с музыкой и угощением и танцами, с венками и цветочными вензелями, с речами на трех языках, прощальными стихами и прочими принадлежностями, был уже окончен, когда Гонобобели вкатились в рыдване своем шестерней в Кострому. Большая часть выпускных девиц были уже разобраны родителями, прибывшими к этому экзамену, и Любаша, в сиротстве своем, несмотря на живой и веселый нрав, пролила уже немало слез, глядя в томительном ожидании на своих подруг. Она, запыхавшись, вне себя выбежала навстречу родителям, пропустив на этот раз вовсе мимо ушей столь важные и дельные наставления начальницы, которая припоминала ей вслед, как себя держать, как приседать и кланяться и как приветствовать отца и мать. Она бросилась на шею матери, потом отцу, там опять матери, рыдала и смеялась. Анна Алексеевна плакала также навзрыд, и зрелище это вышло бы в самом деле невыносимо умильным, если б Иван Павлович не позаботился придать ему несколько более успокоительный оттенок. Старик встретил дочь громким и глупым смехом, врал и молол без умолку, обращая кстати и некстати внимание присутствовавших на умные речи свои. Девушки, вышедшие скромною вереницей в приемную проводить подругу свою и разделить с нею радость, стояли все в слезах и готовились заранее еще к обильнейшему плачу, – но они были до того озадачены поведением этого папеньки, что стояли в совершенном недоумении, как бесчувственные куколочки. Сама даже начальница была поставлена в затруднительное положение и с свойственною ей находчивостью тотчас же приискала повод, чтоб пожуричь вполголоса покорных овечек своих и тем отвлечь их внимание от странных замашек Гонобобеля. Но его нельзя было надоумить этим или сбить с кочу: как вежливый, светский человек, он, напротив, считал долгом своим придать более веселый вид этому свиданию и прощанию и занять девиц, а потому и обратился тотчас же к ним, засыпал их вовсе непонятными для них островами и, забывшись несколько раз, протягивал руку, чтоб по привычке своей придержать своего собеседника за пуговицу. Он наступал на бедненьких, испуганных девиц вплоть и кричал почти в уши, то одной, то другой: «Слышите, что я говорю: я говорю, ха-ха-ха – я говорю: дочка переросла матушку – а? Каков ребенок? Я говорю, ха-ха-ха! Слышите, что я говорю? Я говорю: невеста хоть куда – отбою не будет от женихов, – слышите? Ха-ха-ха! А ну, поди-ка сюда, – продолжал он, – поди да покажи-ка нам левое ушко свое, моя ли ты дочь, – ведь она у меня меченая, ха-ха-ха, – слышите, что я говорю? Она меченая у меня – ты ли это, не подменили ль тебя? Нет, моя дочка, моя; вот и меточка – видите, смотрите! Ушко поротое... ха-ха-ха!»

Кто взглянул бы в это время на розовое ушко Любаши, которое она, улыбаясь, подставила, а папенька ее держал между пальцев, тот мог бы увидеть на нем небольшой рубчик длиною с ноготок. Это, без всяких шуток, была метка, которою отец пометил дарованных ему богом детей, дочь и сына, чтоб они не затерялись или чтоб их не подменили. Благоразумие или предусмотрительность, достойные Ивана Павловича Гонобобеля.

Перерасти матушку, как заметил Иван Павлович, Любаше было, впрочем, не мудрено, потому что Анна Алексеевна едва доставала носом до средних петлиц на фраке своего мужа. Любаша была среднего роста, гибка и такого приятного очерка в стане, что казалось, было бы легко обнять ее двумя пяденями, приподнять и поставить перед собою на стол. Головка ее была живописна кругом и со всех сторон; светло-русые волосы с пепельным отливом, слегка извиваясь волной по обе стороны пробора, оттеняли немножко азиатское по складу личико, нежное, хотя немножко смугловатое, но с удивительною живостью и яркостью румянца. Большие голубые глаза, довольно резко обозначенные брови, прямой лоб, носик, который спереди казался несколько плосковатым, но сбоку представлял легкий погиб, резко обозначенные ярко-пунцовые губки, ямки на щеках, истинно калмыцкие, поднизанные на подбор зубки и изумительно прелестный погиб бархатной шеи – все это оживлялось еще необычайною жизнью во взоре и во всех движениях, несколько поспешных, но плавных и нежных, доказывающих, однако же, опытному наблюдателю, что здесь женственность была развита в высшей степени и первое впечатление, чувство брало верх над рассудком...

Между тем предусмотрительный сосед Гонобобеля, рассчитав, к какому времени можно ожидать соседей обратно из Костромы, и убавив на всякий случай денька три из этого счета, отправлялся ежедневно под вечер, то пешком для прогулки, то верхом, то на дрожечках, в сельцо Подстойное, а иногда проезжал еще версты две за него и возвращался шажком домой. Он делал это, сам не зная к чему и для чего, делал потому, что ему хотелось гулять в эту стору, а не в другую и что он волен был располагать и собою и временем. Никакой положительной мысли в нем не созрело: он детски играл мечтами и был счастлив.

Подъезжая однажды к усадьбе Ивана Павловича, он увидел на другом конце сельца облако пыли – вещь взыграло недаром: это катил рыдван шестерней и троичная телега. Дорожная поклажа усилилась еще и выросла разными покупками в губернском городе, и потому коробки, кузовки, картоны, мешки и узлы навалены были гора-горой как на телеге, так даже и на чердаке рыдвана, который, несмотря ни на какие возражения и остроты Ивана Павловича, в этом безобразном виде, круглый и пузатый, как готовый к отлету воздушный шар, величаво приближался к барской усадьбе. Игривый считал в это время всякое посещение неуместным и потому хотел было воротиться потихоньку домой; но, высматривая с осторожностью некоторые подробности этого поезда и стараясь по временам проникнуть взором в необъятную, темную хлябь через опущенное окно рыдвана, Павел Алексеевич невзначай встретил высунувшуюся оттуда головку: она кивала ему приветливо; затем, оборотившись на одно мгновение внутрь, казалось поспешно что-то проговорила и опять уже с улыбкою выглядывала в окно. За нею показалось в тени еще какое-то широкое лицо и, кажется, также третье, и, наконец, даже сидевший за каретой на горе Монблане Филька снял дорожный картуз свой и низенько раскланивался.

Нечего было делать – Игривый подъехал ко двору и, встретив хозяев у крыльца, стал их высаживать. Наперед всего вывалился сам Гонобобель, изъявляя громогласно радость свою при нечаянном свидании с дорогим соседом и строго приказывая всем слушать, что сам он, Гонобобель, говорит. Дворня окружила господ, стая собак бросилась с лаем и воем на почтенного хозяина и сбила его с ног; а какой-то шальной теленок, которого всполошили собаки, метался как угорелый между людьми, лошадьми, постромками и собаками, лягался и ревел благим матом. Гонобобель отбилась наконец от домочадцев и обнялся с гостем, взяв его при этом случае руками за уши, как самовар; он сам не мог нарадоваться этой замысловатой

выдумке и кричал и объяснял ее после целый день. Высаживая Анну Алексеевну, Игривый поцеловал у ней ручку и не успел покоситься через старуху в рыдван, как третья и последняя птичка уже выпорхнула оттуда сама, приветствовала соседа, быстро оглядывалась кругом, припоминая предметы, знакомые ее детству, улыбалась радостно, а между тем слезинка дрожала на русой реснице... Дворня также со слезами бросилась в ноги барышне, и нянюшки чуть не унесли ее на руках.

– Что ж ты, привез ли мне для сюрприза на новоселье кобеля-то? – заревел Гонобобель, когда все вошли в покои, напоминая Игривому обещание его.

– Нет, не привез, – отвечал тот. – Я не надеялся застать вас сегодня здесь...

– Так черт ли в тебе, коли ты один приехал! Ха-ха-ха, слышите, что я говорю? Я говорю: черт ли в тебе, коли ты ко мне приехал один... ха-ха-ха...

Между тем как кошки взметывались от радости в комнатах под самый потолок, а оттуда валились клубом под ноги, мяукали и ластились, а девки и вся дворня зашевелились, как пчелиный рой, Анна Алексеевна старалась ласками своими загладить по возможности довольно странное приветствие своего супруга. Игривый, конечно вовсе в этом не нуждаясь, с умилением смотрел па стоявшую перед ним молодую девушку, которая рассказывала ему необычайные для нее дорожные приключения. Несмотря на завидное положение свое, он, однако ж, вскоре опомнился, простился, обещав опять навестить соседей, и оборотился к передней, но здесь новое неожиданное препятствие остановило его: дорожные чемоданы, сундуки, ларцы, коробки, кузовки, мешки и узлы разного рода и вида не только покрыли собою весь пол и не давали ни конному, ни пешему прохода, но поклажа эта взгромождена была у самых дверей горой, выше роста человеческого. Один подавал, другой принимал, ставил все тут же и убегал в другую сторону, и, таким образом, дверь была загорожена. Только после долгого шума, крика и многих острот со стороны хозяина наконец дорога была кой-как очищена и сосед окончательно раскланялся.

– Мы к вам в воскресенье к обедне, – кричала ему вслед в окно Анна Алексеевна, и он, раскланиваясь, просил пожаловать и зайти к нему закусить.

Утром крестьяне и крестьянки пришли к барышне своей на поклон с ягодами, яблоками, яйцами, цыплятами и полотенцами. Все это было ей очень ново и странно – она беспрестанно оглядывалась на мать, ожидая от нее наставления, как и что делать; вмешавшись же наконец в толпу, она перецеловала всех девушек и тем доставила старикам крестьянам большое утешение.

Что же Любаша нашла в отчем доме и чем отозвалось в ней все то, что она там на первый случай встретила? На первый случай – она была довольна и счастлива: она вышла из-под тягостной опеки на волю; она была уже вовсе не тою девочкой, которую мадам журит весь день, при каждой встрече, наказывая держаться прямее, ходить плавнее, приседать милее; она сама сделалась внезапно какою-то повелительницей, и все в доме смотрели барышне в глаза, чтобы только на нее чем-нибудь угодить. О хозяйстве, о должном порядке в доме у нее, разумеется, не было никакого понятия, и ей казалось, что до всего этого ей нет и не будет никакой нужды; она рождена на свете и воспитана в образцовом костромском пансионе; для чего? Да, для чего? Это вопрос слишком неожиданный и странный; о подобном вопросе она еще и не слыхивала, а полагает, если только должна быть особая цель и назначение ее бытию, – полагает, что она родилась на свет для радости, для веселья, для того чтоб порхать, и тешиться, и забавляться в течение белого дня, а по ночам дремать под сладкие грезы... О неуклюжих странностях отца она судить не смела и потому его не осуждала, хотя часто краснела от него; она чувствовала, что ей как-то неловко, но скоро опять забывала это и наконец решила, что, видно-де, этому так и должно быть...

В воскресенье Игривый хлопотал уже с утра о достойном приеме дорогих гостей. Они точно приехали к обедне, а из церкви вместе с хозяином пошли его навестить. Тут закусили,

осмотрели хозяйство и сад, а когда наконец вошли в покои и стали собираться в обратный путь, то не могли доискаться Любаши, которая одна-одинехонька бегала по саду. Скрепя сердце Игривый сидел в это время чинно со стариками: но чувства и думка его, конечно, бродили в ином месте.

– Где она? – кричал Гонобобель. – Пропала, что ли? Так недаром же она у меня меченая – ха-ха-ха! Слышите, что я говорю? – и взял вбежавшую Любашу за ушко, чтоб освидетельствовать знаменитую метку. – Так, она и есть, не подменили; да где же ты это пропадаешь? Уж не хочешь ли здесь остаться – а? Слышите, что я говорю – ха-ха-ха...

Анна Алексеевна с трудом замяла этот довольно странный вопрос, который, впрочем, несколько не смещал Любаши, потому что она вовсе не поняла его значения.

– Вы скоро к нам будете? – спросила она Павла Алексеевича, который провожал дорогих гостей на крыльцо.

– Скоро, когда угодно, когда позволите, – отвечал он.

– Приезжайте, – продолжала она, – вот хоть завтра... Я начинаю скучать без моих добрых подруг. А вас я видела там с ними, и мне с вами веселее. Я давно вам хотела сказать, что вы походите на Машу Суслонцеву: это мы все решили и прозвали ее за это вашим именем.

Отец подошел в это время с новыми замысловатыми остротами своими, ухватил Игривого за пуговицу и, повертывая его справа налево и слева направо, врал и хохотал ему на ухо. Линейку подали, Гонобобели уехали. Игривый долго глядел им вслед, задумчиво поплелся в сад, отыскивая на песке по дорожкам следов пары маленьких ножек, – а вся дворня, вся деревня, наконец и все соседи и весь околоток начали понимать, намекать и пророчить, что из этого-де что-нибудь да выйдет.

Так мирны, тихи и складны были дела и сношения между Алексеевкой и Подстойным и оставались в этом виде целый год. Соседи так свыклись между собою, что им было скучно друг без друга, если они два дня сряду не видались: а Игривый и Любаша в самом деле казались связанными уже гораздо более, чем одними узами светской приязни. Никогда, правда, между ними речи не было о разъяснении этого чувства и взаимных их отношений; но всякий посторонний зритель не мог ни на минуту оставаться насчет этого в сомнении. Они бессознательно наслаждались мирным и тихим блаженством своим, не нуждались доселе ни в каких более объяснениях и не думали еще о перемене своего положения – так оно казалось им хорошо.

Между тем как у них у обоих не было заветных тайн друг от друга, то и бывала почасту речь о том, что Игривый намерен вскоре отправиться на год в университет для окончания курса. Он говорил об этом охотно, как будто к слову и случайно, замечая, как и чем это отзовется в Любаше, и услаждаясь тем, что она, смотря по расположению своему, то хмурила брови, подтягивала губку и немножко дулась, то озадачивала друга нежным и убедительным взглядом, то прямо старалась отклонить его от этого намерения словесными убеждениями и доводами, которые всегда подавали повод к нежным беседам, хотя в них, собственно, о нежности и о любви не упоминалось. Вследствие ли этих объяснений и детских упреков или по другим причинам, но Игривый собирался уже и не поехал в первое полугодие или семестр после приезда Любаши, не поехал и во второе, после нового года, а теперь собирался, как будто не шутя, на третье, расписывая в воображении своем сладкую горечь разлуки, блаженство свидания и наконец внезапную счастливую развязку, которая должна повершить дело. Ему казалось, когда он размышлял об этой блаженной будущности, что тут препятствий никаких быть не может; в Любаше он был уверен, а со стороны родителей ее ие. только нельзя было ожидать каких-либо затруднений, но, напротив, они, по-видимому, весьма желали этого союза, приличного и выгодного во всех отношениях. Отдать дочь за порядочного и не бедного соседа – какой же отец и мать от этого откажутся?... Впрочем, мы здесь взялись пояснить, может быть, более, чем и самому Игривому было ясно; все размышления эти происходили в нем почти бессозна-

тельно, и когда он ловил себя на них врасплох, то сам первый восклицал: «Какой вздор – ну, с чего ты это взял?»

Однажды вечером Игривый расхаживал рядом подле Любаши взад и вперед по дорожке в саду, перед чайным столом, за которым сидели родители ее и еще два-три соседа. Он опять завел вполголоса речь о скором отъезде своем в конце каникул и собирался с духом для дальнейших необходимых объяснений. Любаша привыкла уже слышать в общих словах об этом любимом предположении своего друга: но будущее казалось ей всегда так далеко, что положительное назначение столь короткого срока как-то неприятно поразило ее. Она задумалась: ей представилось живо это одинокое, томительное смутное время, когда она будет одна на свете, когда у нее даже не будет под рукой Павла Алексеевича, и она не могла понять: почему же она прежде жила спокойно без него, а теперь этого не может? У нее не доставало духа на какое-либо объяснение; она потупила глаза, повесила голову, стала задумчиво играть веточкой, которую держала в руках, и сама не замечала ни странности своего молчания, ни томительного ожидания своего друга.

– Будете ли вы меня помнить? – сказал он наконец. – Узнаете ли вы меня, когда я ворочусь опять к вам?

Она быстро взглянула на него, и какой-то скорый ответ едва было не вырвался из уст ее, но она опомнилась и выговорила только едва внятно:

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.